

Рисунок Марины Медведевой

ГЛАВА 4

Сорок пять секунд — батарея, подъем! — кричал дежурный, сержант Ахминеев, и включил свет в казарме.

Сорок два темно-синих одеяла одновременно взвились в воздух, на миг застыли в вертикальном положении и, обрушившись на козырьки коек, переломились надвое. Прошла еще секунда, и в казарме раздался скрип потревоженных кроватных пружин. А еще через секунду началось действие, которое бурят Ахминеев называл сменой времен года в период горения спички. Ахминеев был юмористом от Бога, однако он бы искренне удивился, если бы кто-нибудь ему об этом сказал. Бывало, сморозит с ходу, не задумываясь, что-нибудь смешное, а потом вскинет брови в недоумении, не понимая, кто это сейчас выдал.

Курсанты, одетые в белое нательное белье (по-ахминеевски — в зиму), в мгновение ока добежали до своих табуретов, на которых лежала форма защитного цвета, и занялись собственным вертикальным озеленением. При дежурном Ахминееве весна никогда не торопилась вступать в свои права, потому что где-то в середине апреля — когда штанам уже положено быть на бойце, а кителю еще на табуретке, — сержант имел привычку давать команду «отбой». Помня об этом, духи действовали грамотно. Они создавали бешеную суету в проходах между койками и от-

делениями, однако дальше правой штанины дело у большинства не продвигалось.

— В марте толкемся, да?! — крикнул дежурный. — Дневальные, тащи табуреты! Сейчас вы у меня попляшете! Сорок секунд — батарея, отбой!

Пока еще мирная зима...

— Тридцать пять секунд — батарея, подъем! Огонь!

Артподготовка. Первая военная весна...

— Тридцать секунд — батарея, отбой! Огонь!

Артобстрел. Первая военная зима...

— Двадцать пять секунд — батарея, подъем!

Огонь!

Артподготовка. Вторая военная весна...

— Двадцать секунд — батарея, отбой! Огонь!

Артобстрел. Вторая военная зима...

— Сорок пять секунд — батарея, подъем! Огонь!

Третья военная весна... Курсанты Кузельцова попали под табуретный артобстрел последними в батарее. Жестокий огонь, перемещавшийся по казарме от первого отделения ПТУР-взвода к первому отделению арт-взвода, с каждым новым отбоем и подъемом становился все более точным. Слышались сдавленные стоны раненых.

Чтобы свести вероятность попадания по своему отделению до минимума, курсанты Кузельцова, в отличие от своих товарищей по батарее, натягивали на себя штаны весны не стоя, а сидя.

Кузельцов, сметрвший телевизор на взлетке¹, бросил мимолетный взгляд на свое отделение и никого не увидел.

— Че-то я не понял, обезьяны! — крикнул он. — Вы где?!

— На полу, товарищ сержант! — откликнулся Павлушкин.

— Свистать всех наверх! — отдал приказ Кузельцов. — Нечего снарядам Ахминя кланяться! Вы у меня те еще!

И ведь как мало надо молодому бойцу! Услышав от сержанта сдержанную похвалу в свой адрес, курсанты первого отделения арт-взвода без раздумий поднялись в рост с мысленными шпалами в спинах, чтобы даже не получить ранение, а прямо погибнуть на глазах родного командира. Они встали бы и без приказа. По просьбе. Без просьбы. От слов ободрения духов так расперло от гордости, что Семенов, получив табуретом по хребту, даже не вскрикнул. Он повернулся к Кузельцову и выдал порциями:

— Не больно... Ваще.

Ранение Семенова по-спортивному разозлило курсантов первого отделения арт-взвода. Они выпрямились до неприличия, развернулись лицом к пушке, харкавшей табуретами, и начали работать в парах. В минуты тяжелых испытаний русский солдат быстро принимает решения. А на утреннем подъеме — даже не в минуты, а в минуту, у которой устав откусил пятнадцать секунд. У подчиненных Кузельцова, по которым прямой наводкой бил Ахминеев, включились внутренние резервы.

— Прикрой подушкой, Герц!.. Прикрой, Тува!.. Прикрой, Фаня!.. Прикрой, Календарь! — прозвучало четыре команды в четырех проходах между койками.

Герц, Куулар, Фаненштиль и Календарев стали первыми номерами. Они коршунами ринулись на койки, схватили подушки и заработали щитами-отражателями.

Вторые номера, спрятавшиеся за спинами товарищей, времени даром не теряли. Они одевались очень быстро, в два раза быстрее остальной батареи, чтобы выиграть драгоценные секунды для выставивших заслон напарников.

Павлушкин уподобился метеору, так как помнил, что у Герца с самого начала службы гнили три ключевых пальца, которыми осеняют себя крестным знамением православные христиане. Эти персты, называемые старообрядцами кукишем, причиняли Александру жгучую боль при

одевании, поэтому Илья торопился как мог, чтобы выиграть для товарища как можно больше времени. Павлушкин нырнул с головой в расстегнутый на две пуговицы китель так же уверенно, как когда-то нырял на гражданке в родную речку Шушь. Промашки не случилось. Через две секунды его ладони стремительно вынырнули из рукавов, а голова — из воротника.

— Меняемся! — бросил Павлушкин Герцу, по ходу обувая тапки (сапоги в казарме не носили).

От острой боли в гнивших пальцах Герц орал молча. В армии он выработал способность кричать беззвучно. Стенобитные орудия наступающих из горла воплей во время утренних подъемов постоянно пытались проломить белый частокостиснутых зубов, протаранить бледно-розовые ворота плотно сжатых губ и вырваться наружу. Но безуспешно. Герц внушил себе, что можно с успехом кричать внутри себя, и делал это с такой самоотдачей, что натурально глух.

На подъемах Александр прибегал в строй одним из последних, но всегда вовремя. Он переживал по этому поводу, но сейчас вдруг понял, что ему не будет равных, когда пальцы наконец заживут. Молчаливый крик радости после неожиданного избавления от комплекса неполноценности разнесся по казарме. И ведь во внешнем мире ничего не изменилось. Все так же гнили пальцы, но гнили они уже на радость Герцу, а боль в них парень начал воспринимать как справедливую компенсацию за будущие триумфы. Александр даже захотел соединить здоровые и больные персты вместе, поцеловать эту пятерню и со словом «вах» раскрыть собранный бутон, как это делают грузины. Однако красивого жеста, которым сыны гор выражают восхищение женщинам или мандаринам на своем прилавке, не последовало, потому что пальцы были брошены в пекло одевания на время.

Пять секунд до времени «Ч». Батарея полуодета. Бег на место построения.

Первое отделение устремилось в узкий проход между подпиравшей третий этаж колонной и кроватью рядового Бабанова из второго отделения. Это был кратчайший путь до места построения. Расстояние между колонной и кроватью — полтора солдата, или, по словам батареи, один рядовой Калина до армии.

Первая пара, Капустин и Календарев, просвистела мимо прижавшихся к козырькам коек Герца и Павлушкина, по правилам вождения обогнали слева Попова и Фаненштиля, по футбольным правилам поддели плечами выросших на пути Куулара и Семенова, повернули во второе отделение и, развернувшись боком, одновременно вошли

¹ Широкая дорожка, делящее спальное помещение на две равные части (арм. сленг).

в проход между колонной и кроватью Бабанова. Сержант Ахминеев не дремал.

— Огонь, — скомандовал дежурный сам себе и сделал залп.

После попадания табуреткой Капустин раскрутился вокруг собственной оси, как юла, и рухнул. Об него зацепился ногой Календарев и тоже распластался на полу. Неудачливые первопроходцы молниеносно закатились под кровати третьего отделения, чтобы не попасть под сапоги товарищей, мчавшихся следом.

Куулару и Семенову тоже не повезло. Ахминеев зацепил табуретом обоих курсантов разом и уложил их на пол валетом червей. От боли парни потеряли ориентир. Один червяк по-пластунски пополз к месту общего построения, другой пресмыкающийся — в обратную сторону.

Следующую пару хранил Бог. На ней Ахминеев, вероятно, заряжал оружие. Попов и Фаненштил протоптались по расплзавшемуся в разные стороны валету червей, благополучно добрались до взлетки и стали в строй.

Герц и Павлушкин пошли на прорыв, когда сорок пять секунд истекли двадцать секунд назад. Сержант Кузельцов крикнул им:

— Отставить время! Раненых не бросать!

Получив приказ, Герц упал на карачки, а Павлушкин присел на корточки, чтобы сравняться в росте с кроватными сетками. В таких нескольких недостойных русского воина, однако безопасных позах друзья стали передвигаться по проходу. Собака Герц облаял забившихся под кровати Капустина и Календарева, что, мол, вылезайте, а то укушу. Гусь Павлушкин пошипел на червей Куулара и Семенова, что, мол, ползите шустрее, а то склюю. Или что-то в этом роде, читатель.

Не прошло и пяти минут после начала подъема, а батарея, построившаяся на взлетке, уже истекла потом. Изнуренные солдаты переводили не только дух, но и стрелки убежавших вперед внутренних часов, так как парням казалось, что прошла целая вечность после команды «Сорок пять секунд, батарея, подъем!». У кого-то была половина десятого, кому-то чудилось, что вот-вот позвонят на обед, а паре-тройке курсантов представлялось даже, что за окнами стемнело, тогда как на улице еще и не начинало светать. Не успели бойцы выставить свои внутренние часы на 6:05, как ходики начали отставать от реального времени.



«До сортира еще далеко, Ахминеев еще даже грудки пробыть не начал», — думали курсанты и переминались с ноги на ногу, регулируя тем самым давление в мочевых пузырях, чтобы, не дай бог, не разговеться в строю.

Между тем до туалета было близко и по времени, и по расстоянию.

— ПТУР-взвод — на очки! — крикнул дежурный.

Курсанты, не ожидавшие такого развития событий, замешкались. Их лица выражали примерно следующее: «Уж не ослышались ли мы? Пожалуй-ста, повторите, товарищ сержант».

— На очки — бегом марш! — повторил дежурный, и в его голосе прозвучало раздражение.

Тут курсантам надо было сразу срываться с места и бежать, бежать, бежать. Но они принялись глупыми улыбками благодарить Ахминеева за доброту и вопрошать у него взглядами: «А бить? Бить разве не будете, товарищ сержант? Как же так? Всегда ведь били».

— Стоим, значит, — спокойно сказал дежурный. — Ну все тогда. Отставить туалет. Сейчас грудки пробывать буду.

От Ахминеева последовали строгие выговоры с занесением в грудные клетки курсантов. Духи стали роптать.

Черпак Ахминеев, лишивший батарею утреннего моциона, переступил опасную черту, но идти на попятную было уже поздно. Чтобы усмирить недовольную молодежь, сержант начал раздавать такие удары, что в груди курсантов заухали совы. Духи кубарем летели на пол, однако тут же вскакивали, затыкали собой пробойны в шеренге и выпрашивали взглядами исподлобья:

— Ну давай, давай.

В каждом сержанте жил тонкий психолог, и Ахминеев на уровне подсознания начал вести себя так, как ведет себя укротитель тигров на представлении в цирке. Дежурный видел, что духи зверели с каждой секундой, что достаточно одного неуверенного слова или неловкого движения с его стороны — и он утратит авторитет. Курсанты, конечно, не напали бы на него, но они запросто могли бы стартовать в туалет без спроса. Ахминеев шел от человека к человеку молча. Перед тем как нанести удар очередному духу, сержант строго, но без ненависти смотрел подчиненному в переносицу, а потом по-хозяйски бил. Кулак Ахминеева молотом опускался на грудную наковальню курсанта только тогда, когда тот, скалясь, отводил налитые кровью глаза. Каждый раз — диалог без слов.

— Че встал — бей, — дерзким взглядом говорил дух.

— Без тебя знаю, что делать, — суровым взором отвечал Ахминеев и наносил удар.

— Все равно отольем, — поднявшись, вздергивал подбородок дух, и в глазах его был вызов.

— Возможно, но ты за это ответишь персонально, — усмехаясь, слегка кивал головой Ахминеев и переходил к очередному курсанту.

То, что ситуация обострилась, чувствовали и другие сержанты, лежавшие на койках и внимательно следившие за развитием событий. Они прекрасно понимали, что Ахминеев зарвался, однако вмешиваться никто из них не спешил, потому что дежурному ничего не угрожало. Им было интересно, как Ахминеев выйдет из ситуации.

Партия клонилась к мату. Пешки постепенно прижимали короля к краю доски. Моча, накопившаяся за ночь в организмах курсантов, ударила им в головы, и они стали игнорировать боль от ударов, огрызаться взглядами и подводить дежурного к поражению одним доступным им способом — психологическим давлением. От неминуемого позора Ахминеева спас замкомвзвода Саркисян, бросивший:

— Руся, пусти их.

— Да ведь совсем офонарели, Армян, — ухмыльнулся Ахминеев за деда как за спасательный круг.

— Сделай это для меня.

— Ара, ты же знаешь, что им раз поблажку дай, и они на голову сядут.

— Уважь старика.

В батарею началась театральная спектакль по спасению дежурного.

— Обезьяны, упор лежа принять, — скомандовал Ахминеев. — А то я за вашими туловищами Армяна не вижу.

— Че хотел? — отозвался Саркисян, обозначившийся за полеглими курсантами.

— А то, Ара, что я тебя уважаю, но не понимаю. Помнишь, ты о шевроне с бульдогом говорил, который на парадку хочешь, которого наша бригада после Чечни нацепила?

— Ну.

— Я достал его... Так вот забирай его себе, мне для тебя не жалко, а с духами я сам разберусь.

— За подгон — спасибо, а насчет духов... Вспомни себя.

— На жалость меня взять хочешь?.. Мы в учебке тоже не всегда по зеленой в толчок ходили. И терпели, ничего нам не сбилось.

— Брось лютовать, Ахминей... Не знаю, как у вас, а у нас два взвода на очки сразу загоняли. А там как хочешь, так и фонтанируй. До семи туловищ в одну кабинку набивалось. Стоим, короче, по кругу, шланги раскатали, а моча с нас

не идет. Когда сильно хочется, всегда так. И такая всегда зависть брала, когда у соседа сброс воды пойдёт, а ты тужишься, а толку нет, как будто какая-то падла мочевой на ключ заперла. А потом струйки, как клинки, над дыркой скрестятся и сражаются меж собой. В натуре, как мечи лазерные в «Звездных войнах».

— В какой части?

— В гвардейской, в какой. И не в части, а в эпитафии... Только в «Звездных войнах» у всех мечи красные, а у нас только у тех, кому почки отстегнули. У троих, например, красные, а у четверых — желтые. Бьемся секунд сорок, не больше, а то на построение не успеть.

— Смотрю, настроение у тебя хорошее, Ара. Ладно, не совсем же я ужаленный, пусть отольют. Че хотел спросить. У вас разве только две расцветки было? С прозрачными струями на своем веку не пересекался?

— Не гони, таких не бывает. Все струи немного сжелта.

— А вот еще че. Бывает, что с утра рукав лазерных мечей не книзу, а кверху направлены.

— Да пребудет с тобой сила.

— Взаимно.

Оба сержанта рассмеялись.

Духам было не до смеха. Они напряжинивали тела в упоре лежа и надеялись, что дежурный все-таки благословит их в близкий путь. Первым отделением артиллерийских взводов бежать до туалета дальше всех, но никто из подчиненных Кузельцова и Литвинова не отчаивался, а разрабатывал тактику и стратегию по захвату и удержанию унитазов.

Когда Саркисян обмолвился о том, что в его курсантскую бытность на очки загоняли сразу два взвода, Герц сразу смекнул, что сегодня батарея, скорей всего, уготована та же участь. Александр вообще внимательно следил за диалогом сержантов и не забывал делиться соображениями с лежащим рядом Ильей.

— Отольем, но не факт, — шепотом комментировал Герц театральную постановку Ахминеева и Саркисяна. — Ага, шеврон всплыл. Факт — отольем... А вот и юмор у них пошел с мечами лазерными, это хороший знак. Но сильно не радуйся, всей батареей мочиться будем... Ага, ржут. Конец спектакля. Готовность номер один. Начинаю обратный отсчет. Три, два с половиной, два, полтора, один... в поле не воин, один... как перст, один... аковый, оди-и-ин. Поехали!

Одновременно со словом «встать» Герц и Павлушкин вскочили на ноги, а вот команду дежурного «оба взвода — в сортир!» они уже опередили.

Шеренги лопнули, как перезревшие стручки гороха, и курсанты, словно горошины, сшибаясь друг с другом, поскакали по взлетке в туалет. Герц и Павлушкин опережали четыре отделения из шести. Это был бы блестящий результат, если забыть о том обстоятельстве, что их обгоняли шестнадцать человек.

Где-то в районе тумбочки дневального скорость курсантов, как обычно, снизилась. Давали о себе знать переполненные до краев мочевые пузыри, в которых во время бега разыгрался шторм. Чтобы утихомирить разбушевавшуюся в организме жидкость, курсанты перешли на спортивную ходьбу. Плавному вилянию солдатских задов могли позавидовать модели. Что там — простые некрасовские бабы, живи они в казарме, могли смело доверить коромысла с полными ведрами нашим духам, потому что размашистый ход ягодиц при абсолютном покое торса и плеч — есть главное правило хождения по воде. Вероятно, исключительно из уважения к памяти некрасовских баб молодые фейерверкеры неукоснительно соблюдали это правило, когда буром перли в туалет. Не беремся утверждать, но не исключено, что страдальческое выражение на лицах курсантов свидетельствовало об их сострадании нелегкой женской долюшке. Если бы во время бега духи прижимали ладони к сердцу, то это, безусловно, говорило бы еще и о том, что, помимо уважения и сострадания к несчастным некрасовским бабам, парни испытывали к ним романтические чувства. Но курсанты целомудренно прижимали ладони совсем к другому месту, название которого не беремся озвучить. Они делали это гораздо мужественнее футболистов в стенке перед штрафным ударом по воротам и, в отличие от танцующего Майкла Джексона, даже без намека на сексуальность.

Герц прибыл в туалет семнадцатым, Павлушкин — девятнадцатым. С тем же успехом Александр мог прибежать в отхожее место сороковым, а Илья — сорок вторым, и ничего бы не изменилось.

Право на облегчение в батарея получали первые шестнадцать человек. Эти счастливицы занимали четыре призовые кабинки (на каждый унитаз — по четыре курсанта), быстро вытаскивали на свет божий свои разнокалиберные орудия, вручную осуществляли нехитрую наводку на дырку в полу и принимались медленно терять в весе. Пока вода выливалась из телесных резервуаров победителей, проигравшие нервно твердили слово-заклинание: «Резче, резче». Это заклинание, как правило, не срабатывало, так как триумфато-

рам не было никакого дела до менее расторопных товарищей. Шестнадцать чемпионов с ползучими тытами от наслаждения глазами никогда никуда не спешили. Они расслаблялись, почти медитировали, словно дегустировали процесс собственного опорожнения на зависть товарищам. Изредка кто-нибудь из венценосцев выдыхал только: «Сука-а-а». Еще куда ни шло, когда в туалет отправляли повзводно. В этом случае за бортом оставались только пять несчастных, но сегодня...

Сегодня естественную нужду справляла вся батарея разом, и число проигравших автоматически выросло до двадцати шести человек. Среди отчаявшихся курсантов, метавшихся по туалету в поисках пятой дырки, в которую можно было бы излить свое желтого цвета отчаяние, завелись повстанцы. Восемь молодых фейерверкеров поставили себя вне закона, когда решили, что четыре кипенно-белых сержантских писсуара — это не частная собственность привилегированных классов, а общественное достояние. Повстанцы, наконец, запамятовали, что на дворе не 1917-й, а 2005 год, в котором за покушение на личное имущество следовало наказание. Крепко взяв мужское достоинство в руки, восемь курсантов не стали грабить чужую собственность. Они варварски надругались над ней. В момент беззакония, творимого над сержантскими писсуарами, нормальные доселе лица бойцов стали напоминать животные хари солдат Октябрьской революции, которые загаживали все, что нельзя было выпить, съесть, продать и изнасиловать.

— Фишка, Литвин, фишка, фишка, Литвин, — тщательно предупреждали трусливые духи-обыватели храбрых духов-мятежников, что на армейском аргоне означало: «В туалет идет карательный отряд в лице сержанта Литвинова».

Но повстанцы уже не могли остановиться, как не может остановиться несущаяся по автобану машина, у которой полный бак бензина и нет тормозов. Лишь один курсант, услышав сигнал об опасности, попытался было включить ручник, но, почувствовав резкую боль внизу живота, продолжил обделывать мокрое дело.

Несмотря на то, что пахучее горючее вылетало напрямую, курсанты все равно не успевали облегчиться до прихода сержанта.

Черпак Литвинов, зашедший в туалет, стал разрушать пинками скульптурную композицию «Писающие мальчики». Курсанты полетели в разные стороны, не забывая поливать мочой кабинки, стены и товарищей, вероятно, с той целью, чтобы никто не вышел сухим из воды, а помещение было помечено. Литвинов, обладавший компьютерной

памятью в несколько десятков гигабайт, запомнил всех виновников справляемого не в том месте торжества. Как запомнил? Очень просто.

— Везде ссущие вы мои, смир-р-р-на-а-а! — скомандовал сержант.

Невиновные духи сразу вытянулись и замерли на месте. Эти Литвинова не интересовали. Его занимали только те курсанты, которые сначала хватались руками за пах, чтобы упрятать в норки своих сусликов, и только потом выпрямлялись в английскую букву «i», которая по-русски произносится как «ай».

— Ай-ай-ай, — один за другим запоздало вставали в стойку смиренно провинившиеся духи.

— Ай-ай-ай, — качал головой Литвинов, запоминая каждый новый «ай» в лицо.

Сохранив на жесткий диск восьмерых банкетов, обесчестивших писсуары, сержант вышел из туалета.

Сразу скажем, что в течение дня Литвинов раздаст всем виновным сестрам по серьгам. Возмездие произойдет в курилке. Однако проштрафившиеся курсанты, которые сегодня пройдут через пыточную камеру Малюты Литвинова, не напрудят в штаны от страха и не обмочатся от боли, потому что все они успели опорожниться на три четвертых еще утром.

Павлушкина и Герца среди восьми мятежников не оказалось.

Чтобы понять, что сегодня в туалете отлить не удастся, нашим героям понадобилось 0,6 секунды.

— В сушилку! — бросил Герц на 0,7 секунды.

— Можно! — без спешки проанализировав ситуацию, согласился Павлушкин с товарищем на 0,9 секунды.

Но не сразу побежали два друга в сушилку. Они были опытными солдатами, поэтому не торопились улизнуть из туалета. Оба курсанта прекрасно помнили, как три недели назад был уличен в проступке и сурово наказан дух Епифанцев, разрешившийся от бремени не в сортире, как заведено, а в комнате бытового обслуживания, или по-армейски — в бытовке. Эта заблудшая овца из третьего отделения арт-взвода отлила не куда-нибудь, а в угол, который замком взвода Саркисян во время разбирательств назвал красным, потому что в нем сох недавно покрашенный ящик для писем, который является иконой для каждого солдата.

— Ты знаешь, что ты обоссал?! — заходился в праведном гневе Саркисян. — Ты наших матерей, подруг, друзей обоссал! Ты херову тучу регионов, которые желают нам здоровья и скорого дембеля, умудрился обоссать! Лучше б ты меня обоссал! Лучше б ты на середину плаца во время развода

по-большому сходил! Лучше б ты подошел к комбату и сказал: «Разрешите обратиться, товарищ прапорщик!» Лучше б ты высморкался в заняя бригады, как в носовой платок! Лучше б ты поднял над штабом не российский флаг, а свою стоячую портянку, и пусть бы она там гордо реяла назло врагам — никто бы тебе слова, обезьяна, не сказал! Так ведь нет же! Ты решил на самую главную святыню покуситься! Знаешь, что мы пишем в письмах на Родину?! Я тебе напомню! У всех стандартно. Здравствуйте, мама, папа и так далее. У меня все хорошо, кормят хорошо, служу хорошо. Передавай привет Костяну, Петьке, дяде Степе и так далее. А теперь представь, что твоя моча попала в ящик с письмами. Строчки же размочит, и мать подумает, что сын плакал, что все у него не так хорошо. В порыве жалости она поднесет письмо к губам, чтобы поцеловать каракули. И ведь поцелует же, твою мать! Не обращая внимания на вонь, ублюдок! Потому что она — мать, потому что она пахучие кучи из-под тебя таскала, когда ты сосунком накладывал в штаны, не желая даже знать, что для этого есть ту-а-лет, а не угол бытовки!

Тогда Епифанцеву здорово досталось, и никто не посочувствовал Анике-воину. Герц и Павлушкин помнили это. Не забыли они и о том, как сержанты безо всякого анализа мочи за пятьдесят минут вычислили ее хозяина. Духов построили, а потом по одному вызывали их в комнату досуга, где каждому из них задавался один и тот же вопрос: «Кто сегодня утром мочился с тобой рядом?» При этом очередного респондента просили не врать, потому что в том случае, если он упомянет соседа, а сосед его нет, то оба будут выселены в туалет на постоянное место жительства. Прописка в сортире мало привлекала курсантов, поэтому они концентрировались, выуживали из памяти информацию об утреннем посещении уборной и лаконично докладывали о том, с кем и как долго они стояли плечо к плечу. Один дух, который был не в силах вспомнить лица тех, с кем он занимался безвредным обезвоживанием организма, даже не премировал поразмышлять на предмет солдатских струй.

— Товарищи сержанты, — сказал он, — человек, находившийся справа от меня, чертил струей букву Z. Этим Zorro мог быть только Бабанов, он всегда так самовыражается. А слева от меня мог стоять кто угодно, но, скорее всего, рядовой Веришко; он всегда бьет по остаткам засохшего кала вокруг дырки, чтобы смыть дерьмо в канализацию и тем самым хоть немного облегчить труд дневальных. А мою непричастность может подтвердить Оконешников. Он толкнул меня в спину и сказал: «Че онанируешь, Дрон? В темпе давай!»

Когда стали допрашивать Епифанцева, он продуманно поместил себя в уголок дезинфекции, который располагался в конце туалета.

— Товарищи сержанты, — не своим голосом произнес тогда Епифанцев, — я завернул в дезуголок, чтобы не мешать другим, так как в сортир утром не хотел. Там и пережидал, когда все назад ломанутся. Туда никто не заглядывал, я все время был один.

Как будто не знал бедолага, что в казарме, нафаршированной людьми до отказа, редко кому удастся остаться наедине с собой долгое время! Как будто не ведал несчастный, что каждый солдат в течение дня то и дело попадает в поле зрения хотя бы одного из своих сослуживцев. Знал и ведал, но понадеялся на русский «авось, пронесет». Зря. Не пронесло, хотя, казалось бы, туалет как раз для этого и создан.

Клубок распутал слон Лысов, девятнадцатилетний младший сержант с телом мужчины, лицом семнадцатилетнего парня и глазами ветерана трех войн.

— Дневальный! — крикнул он.

— Я! — вырос в дверном проеме курсант Каломейцев.

— Ты должен был видеть Епифанцева, когда в дезуголке убирался?

— Так точно!

— Значит, видел?

— Никак нет!

— Не понял.

— Раз вы говорите, что должен был видеть — значит, должен. Но я не видел... Виноват, товарищ сержант.

— Ты че — выхватываешь¹ надо мной, гoblin?

— Никак нет.

— А хули тупишь тогда?

— Замотался, наверное.

— Эй, лупень, ты че хочешь сказать, что ты вымотался?

— Никак нет. Вымотался — это когда мочи нет.

— О моче и речь, гoblin.

— Ясно.

— Че тебе ясно?

— Крайних ищите... Я не виноват. Меня в бытовке не было. Я в дезуголке убирался.

— И убирайся! — взревел Лысов.

От полного непонимания Каломейцев завис, как компьютер.

— На очки! — включил Лысов перезагрузку подчиненного.

¹ Смеяться (сленг).

Словом, Епифанцев, которого ни худым, ни добрым словом не помянули курсанты в своих рассказах об утреннем посещении отхожего места, оказался крайним. Если женщина говорит мужчине, что он превратился в тряпку, то под этим она подразумевает, что рядом с ней живет олух, растяпа, тюфяк. В армии же все буквально.

— Короче, собой пол вытрешь, — сказал Лысов Епифанцеву. — Все по понятиям. Сам нагадил — сам убирай. Это не запахло. Твоя же моча. Ты же не обламываешься носить ее в себе, значит, поносишь и на себе. Но это не наказание. Это то же самое, что ты похавал, а потом посуду за собой помыл. Короче, наказать тебя надо еще, чтоб другим неповадно было. Сначала мы сделаем из тебя ветошь, а потом повысим в звании до половой тряпки.

С квелыми лицами курсанты арт-батареи наблюдали за тем, как пропитывался мочой елозивший по полу Епифанцев, предварительно обработанный умелыми сержантскими руками в меховых трехпалых рукавицах. После избияния провинившийся дух не мог похвастать ни одним синяком на лицевой стороне тела, зато изнанка Епифанцева пострадала изрядно. Здоровый снаружи, больной внутри — провинившийся дух один в один напоминал Римскую империю перед приходом варваров. Если бы Епифанцев, старательно осушавший собой пол бытовки, впитал бы в себя все, то мы бы ограничились банальным сравнением курсанта с губкой. Ну, раз не губка, то, может быть, тогда промокашка, вымершая на закате чернильной эры? Нет, у промокашки тоже нет никаких шансов на воскресение из мертвых на страницах нашей рукописи, потому что Епифанцев скорее размазывал, чем впитывал растекшиеся из угла ручейки. Поэтому мы уподобим курсанта ножу, мочу — маслу, пол — хлебу. Обильные осадки, выпавшие из духа поутру, тонким слоем распределялись по дощатой горизонтали бытовки и быстро испарялись.

Эпизод с Епифанцевым занозой сидел в головах Павлушкина и Герца, только эта заноза не причиняла ее носителям особых неудобств, так как была простым механическим напоминанием об ошибке другого солдата и ее последствиях. Друзья не испытывали сострадания к униженному товарищу. Правды ради надо отметить, что никакого презрения к отверженному курсанту они тоже не чувствовали.

Павлушкин и Герц оставались в туалете в течение периода, который в их случае можно было смело назвать юрским. Целых семь целых шесть десятых секунды они грамотно терлись в уборной, чтобы отложиться в памяти у как можно большего

числа товарищей. Фразы «право принять, Герц», «с дороги, зема¹», «я ща кому-то потолкаюсь, Герц», «недержание, что ли?» вполне устраивали Герца, так как его фамилия прозвучала два раза. Навел шороху и Павлушкин. Его послали четыре раза, и все четыре раза — с добавлением прозвища.

Забив собственными персонами головы сослуживцев, Павлушкин и Герц по стеночке выскользнули из туалета, бесшумной рысью пронеслись мимо тюремной решетки комнаты для хранения оружия и, миновав печально известную бытовку, ворвались в сушилку. Их отчаянные лица выражали примерно одно и то же: «Здесь и сейчас мы обделаем мокрое дело так, что и мокрого места не останется». Жертвой киллеров пало комнатное растение по фамилии Герань. Убийц не оставил тот факт, что цветок был безобидным философом, даже последователем Диогена, если вспомнить о том, что бочка приходится горшку дальней родственницей. Герц снял с подоконника цветок и поставил его к стенке. Друзья вырвали из ширинок водяные пистолеты с переполненными обоймами и открыли то, что огнем можно было назвать только с большой натяжкой.

— Моча впитываться не успевает, — сказал Павлушкин.

— Так в одну точку бьешь, — бросил Герц.

— Типа, если по всей поверхности распылить, то быстрее всосется.

— А ты будто не знаешь, что быстрее. Деревенский, а в почве не шарить.

— Для кого — почва, а для кого — земля.

— Ха, мать сыра земля.

— И сыра, тебе-то че?

— Да мне-то ниче. По барабану.

— А таким, как ты, всегда по барабану. Понаедут к бабкам пирожков пожрать, молока полакать, с телками нашим на сеновале покуражиться, а потом сваливают.

— Куда, куда понаедут? Уж не в Москву ли?

— В деревню!

— Да кому твой колхоз нужен!

— Тогда не фиг мою землю грязью поливать!

— Я уже закончил.

— Весело, да?

— Нет, легко.

— С облегченьем.

— Взаимно.

Резко повернувшись на сто восемьдесят градусов, разошедшиеся в сложном аграрном вопросе друзья сразу сошлись взглядами на вопросе про-

¹ Земляк (арм. сленг).

стом, на самом что ни на есть рядовом. На рядовом Бузакове, который был спрятан сержантами в сушилке перед телесным осмотром. Бузаком, бывший по жизни человеком неприметным, вчера внезапно выделился из серой массы. Более того — ему помог выделиться один из тех, кто в продолжение нескольких месяцев то и дело вдальблывал каждому курсанту: «Не выделяйся!»

Вчера в сержанте Ахминееве внезапно прощелся художник, и он тут же взялся за первую попавшуюся кисть, чтобы расцветить лик однообразного армейского мира. Так уж как-то нечаянно получилось, что кисть оказалась составной частью руки Бузакова. Ярый приверженец абстракционизма, Ахминеев любил, чтобы его бессмысленные картины отзывались болью в сердцах истинных ценителей живописи. Выкрутив кисть Бузакова до хруста, сержант раскрутил рядового вокруг себя и шваркнул его об стену, потом, чтобы добиться идеальных линий, снова раскрутил и еще раз шваркнул. Природная красная краска выступила из Бузакова и мистическими кляксами легла на побелку. От соприкосновения с гением мастера волшебным образом преобразился и сам дух; серьезно ударившись темечком, он стал выше остальных людей пусть и не на голову, но на еловую шишку точно. Вдобавок ко всему на глаза Бузакова после художеств Ахминеева со всех сторон наплыла небесная синь, и это могло означать только одно: он теперь уникальный человек, которому не место среди обычных людей на телесном осмотре, проводимом санинструктором батальона каждое утро.

— Спишь¹ нас — убьем, — угрожающе зарычал Павлушкин на Бузакова.

— Штык-ножом. В койке. Сегодня ночью в наряде, — сухо уточнил Герц оружие-место-время возможного убийства.

Оставив синюшного Бузакова наедине с выбором между жизнью и смертью, друзья выбежали из сушилки и органично влились в курсантскую речку, мчавшуюся из туалета на построение.

— Больные есть? — спросила санинструктор Мальцева, дождавшись, когда шеренга арт-взвода увидит на другой стороне взлетки зеркальное отражение в лице ПТУР-взвода.

Санитарный инструктор Мальцева была женщиной мягкой, сердечной и наивной. Что касается ее внешности, то сразу бросалось в глаза, что она со всех сторон круглая, как дура.

— Ребята, больные среди вас есть? — повторила вопрос санинструктор.

— Никак нет! — не без желчи в голосе гаркнула батарея, подумав про себя: «Мы тебе че, больные — в своих болячках при сержантах сознаваться?»

— Форма одежды — голый торс, — тихо произнесла Мальцева.

— Вы че, оглохли?! — услужливо заорал Ахминеев. — Голый торс!

Начался телесный осмотр. Мальцева переходила от одного бойца к другому и смотрела на груди. Закончив с солдатскими фасадами, она скомандовала «кругом» и стала изучать спины. У пяти курсантов Мальцева обнаружила синие пятнышки, о происхождении которых догадался бы любой дурак, кроме нее.

— Откуда это у тебя? — спросила она у одного из курсантов, аккуратно прикоснувшись к синяку на его плече.

— Упал в умывальнике, — прозвучал традиционный ответ.

— Как это тебя угораздило?

— Поскользнулся.

— Понятно... Пожалуйста, будь аккуратней.

Автор никогда бы не подумал, что хорошего человека можно ненавидеть, причем ненавидеть в определенные часы. Однако это было так. Мальцеву презирали утром и любили днем. Из-за этого за санинструктором даже закрепилось два прозвища. По первому прозвищу любой курсант мог точно вычислить, когда произошло какое-нибудь утреннее событие. Например, если в разговоре между духами проскальзывало предложение «Меня с Бобом на лестницу кинули, когда Тушенка как раз от махры спускалась», то означало это следующее: «Мы с Бобом начали мыть полы на лестнице в 6:35». По второму прозвищу нельзя было сверять часы, потому что оно вступало в законную силу после завтрака и не теряло легитимность до самого отбоя. Нашим Колобком величалась Мальцева с 8:30 до 22:00. Доверчивость санинструктора к показаниям побитых солдат превышала все разумные пределы. Однажды Мальцева даже попеняла сержантам:

— Какие-то они у вас неуклюжие. Один на швабру наступает, другой в двери не вписывается, третий на животе по доскам разъезжает, хорошо хоть заноз нет. Жестче надо с ними, не детский сад.

Словом, за такое и все такое прочее щеголяла Мальцева Тушенкой до завтрака и даже наверняка перевалила бы с таким прозвищем и дальше, если бы была не наивной дурехой, а злой дурой.

«Посмотрите нам в глаза, — мысленно говорил Герц санинструктору во время сегодняшнего ут-

¹ Выдать (арм. сленг).

ренного осмотра. — Неужели вы не видите, что запечатлели эти глаза вчера? Смотрите внимательно, и вы увидите специально оставленные для вас кадры. Не все кадры, только самые лучшие, чтобы не отнимать у вас время. Не бойтесь, страха вы ни у кого не увидите. Даже у тех, кто, опустив глаза, вчера кулак на собственной груди сфотографировал. А уж о тех, кто не себя, а других снимал, и говорить не приходится; мы давно умерли для страха за своих товарищей и перестали испытывать сильные эмоции, когда видим страдания других. В наших глазах — не страх, а привычка к страху, то есть отвага. Да-да, отвага. Уже не трусость, но еще не мужество — вот что у нас в глазах! Никто из нас уже не моргает и тем более не отводит взгляд, когда наблюдает что-нибудь из ряда вон выходящее. Из шеренги вон выходящее, из колонны вон выходящее, отовсюду вон выходящее! В сорока двух отборных кадрах батареи — хроника вчерашнего дня... Только вы ничего опять не заметите. Это ничего, что не заметите, мы привыкли. Тогда пощупайте хоть лбы. У некоторых курсантов под сорок температура. Люди горят. Блины на них можно печь, как горят. Их трясет от холода — вот как они горят! Хотя не щупайте. Никто с вами в госпиталь все равно не пойдет. Нам нельзя. Сначала было нельзя, потому что сержанты запрещали. А теперь нельзя, потому что двенадцать человек уже перенесли болезнь на ногах, остальные ничем не хуже и не лучше их. Из солидарности никуда не пойдём... Ага, пощупайте, пощупайте Калину. Я знаю, что он вам сейчас ответит».

— Рядовой, у тебя жар, — сказала Мальцева.

— Как у жар-птицы, — ответил Калина.

— Кости не ломит?

— Так ломит, что охота туловищем с кем-нибудь поменяться. Вон хоть с кем-нибудь из махры.

— Что ж ты другим зла желаешь?

— А че они?

— Горло болит?

— Не горло — сердце, товарищ прапорщик.

Сердце — в смысле душа.

— Это не по моей части.

— А какая ваша? 31965?

— Остришь?

— Туплю.

— Служи давай, юморист.

— Вот так всегда.

«Вот так всегда, — мысленно повторил Герц. — Ты отважный человек, Калина. По-настоящему. Есть никчемная отвага, которая присуща гражданским пацанам. В момент опасности они просто перебарывают трусость, минут пять-десять дерутся с противниками, а потом расходятся по домам и в уюте зализывают раны. Такое у нас тут каждый может. Делов-то. В нас тут только что не стреляли, а так — все было. Каждый третий в батарее легко выйдет против пяти человек, каждый второй — против трех, каждый первый — один на один. Выйдет в том случае, если среди этих пяти, трех, одного не окажется наших сержантов. И что? По-моему, все равно неплохой показатель. В мире живет шесть миллиардов, а мы откажемся от драки только с восемью пацанами, которые по какой-то нелепой случайности служат с нами в одной батарее...»

Очнулся Герц на полу. Не то чтобы он непрочно стоял на земле — совсем нет. Его просто резко подсекли, как задумавшегося над червем карася. Подсекли не только Герца, но и еще одного курсанта, который клевал не ртом, как любой уважающий себя окунь, а носом. Оба духа при падении отбили хребты, поэтому выпучивали глаза и хватили ртами воздух, как улов, выброшенный на берег.

— Больно? — склонившись над Герцем, спросил удачливый рыболов Ахминеев.

— Никак нет, — шепотом ответил Герц, прибегнув не просто к разрешенному, но и к активно поощряемому в армии виду лжи.

Дальше пути Павлушкина и Герца на время разошлись. Первый был отправлен на уборку территории, второго оставили в казарме для наведения порядка.

Продолжение следует.